

Но Савл, он же и Павел, исполнившись
Духа Святаго и устремив на него взор,
сказал: о, исполненный всякого коварства
и всякого злодейства, сын диавола, враг
всякой правды! перестанешь ли ты совра-
щать с прямых путей Господних?

Деяния Святых Апостолов, 13, 9—10

Гнать, держать, бежать, обидеть,
слышать, видеть и вертеть,
и дышать, и ненавидеть,
и зависеть, и терпеть.

*Группа глаголов русского языка,
составляющих известное исключение из правил;
ритмически организована для удобства
запоминания*

То же имя! Тот же облик!

Эдгар По. Вильям Вильсон

ГЛАВА ПЕРВАЯ

НИМФЕЯ

Так, но с чего же начать, какими словами? Все равно, начни словами: там, на пристанционном пруду. На *пристанционном*? Но это неверно, стилистическая ошибка, Водокачка непременно бы поправила, пристанционным называют буфет или газетный киоск, но не пруд, пруд может быть *околостанционным*. Ну, назови его околостанционным, разве в этом дело. Хорошо, тогда я так и начну: там, на околостанционном пруду. Минутку, а станция, сама станция, пожалуйста, если не трудно, опиши станцию, какая была станция, какая платформа: деревянная или бетонированная, какие дома стояли рядом, вероятно, ты запомнил их цвет, или, возможно, ты знаешь людей, которые жили в тех домах на той станции? Да, я знаю, вернее, знал некоторых людей, которые жили на станции, и могу кое-что рассказать о них, но не теперь, потом, когда-нибудь, а сейчас я опишу станцию. Она обыкновенная: будка стрелочника, кусты, будка для кассы, платформа, кстати, деревянная, скрипучая, дощатая, часто вылезали гвозди, и босиком там не следовало ходить. Росли вокруг станции деревья: осины, сосны, то есть —

разные деревья, разные. Обычная станция — сама станция, но вот то, что за станцией, — то представлялось очень хорошим, необыкновенным: пруд, высокая трава, танцплощадка, роца, дом отдыха и другое. На околостанционном пруду купались обычно вечером, после работы, приезжали на электричках и купались. Нет, но сначала расходились, шли по дачам. Устало, отдуваясь, вытирая лица платками, таща портфели, авоськи, ёкая селезенкой. Ты не помнишь, что лежало в авоськах? Чай, сахар, масло, колбаса; свежая, бьющая хвостом рыба; макароны, крупа, лук, полуфабрикаты; реже — соль. Шли по дачам, пили чай на верандах, надевали пижамы, гуляли — руки-за-спину — по садам, заглядывали в пожарные бочки с зацветающей водой, удивлялись множеству лягушек — они прыгали всюду в траве, — играли с детьми и собаками, играли в бадминтон, пили квас из холодильников, смотрели телевизор, говорили с соседями. И если еще не успевало стемнеть, направлялись компаниями на пруд — купаться. А почему они не ходили к реке? Они боялись водоворотов и стреженей, ветра и волн, омутов и глубинных трав. А может быть, реки просто не было? Может быть. Но как же она называлась? Река называлась.

К пруду вели, по сути дела, все тропинки и дорожки, все в нашей местности. От самых дальних дач, расположенных у края леса, вели тонкие, слабые, почти ненастоящие тропинки. Они

едва светились вечером, мерцая, в то время как тропинки более значительные, протоптанные издавна и навсегда, дорожки настолько убитые, что не могло быть и речи, чтобы на них проросла хоть какая-нибудь трава, — такие дорожки и тропинки светились ясно, бело и ровно. Это на закате, да, естественно, на закате, точнее, сразу после заката, в сумерках. И вот, вливаясь одна в другую, все тропинки вели в сторону пруда. В конце концов за несколько сот метров до берега они соединялись в одну прекрасную дорогу. И эта дорога шла немного покосами, а потом вступала в березовую рощу. Оглянись и признайся: плохо или хорошо было вечером, в сером свете, въезжать в рощу на велосипеде? Хорошо. Потому что велосипед — это всегда хорошо, в любую погоду, в любом возрасте. Взять, к примеру, коллегу Павлова. Он был физиологом, ставил разные опыты с животными и много катался на велосипеде. В одном школьном учебнике — ты, разумеется, помнишь эту книгу — есть специальная глава о Павлове. Сначала идут картинки, где нарисованы собаки с какими-то специальными физиологическими трубочками, вшитыми в горло, и объясняется, что собаки привыкли получать пищу по звонку, а когда Павлов не давал им пищи, а только зря звенел — тогда животные волновались и у них шла слюна — прямо удивительно. У Павлова был велосипед, и академик много ездил на нем. Одна поездка тоже показана в учебнике. Павлов там уже старый, но бодрый.

Он едет, наблюдает природу, а звонок на руле — как на опытах, точно такой же. Кроме того, у Павлова была длинная седая борода, как у Михеева, который жил, а возможно и теперь живет, в нашем дачном поселке. Михеев и Павлов — они оба любили велосипед, но разница тут вот в чем: Павлов ездил на велосипеде ради удовольствия, отдыхал, а для Михеева велосипед всегда был работой, такая была у него работа: развозить корреспонденцию на велосипеде. О нем, о почтальоне Михееве, — а может, его фамилия была, есть и будет Медведев? — нужно говорить особо, ему следует уделить несколько особого времени, и кто-нибудь из нас — ты или я — обязательно это сделает. Впрочем, я думаю, ты лучше знаешь почтальона, поскольку жил на даче куда больше моего, хотя, если спросить соседей, они наверняка скажут, будто вопрос очень трудный и что разобраться тут почти невозможно. Мы, скажут соседи, не очень-то следили за вами — то есть за нами, и что это, мол, вообще за вопрос такой странный, зачем вам вдруг понадобилось выяснять какие-то нелепые вещи, не все ли равно, кто сколько жил, просто несерьезно, мол, займитесь-ка лучше делом: у вас в саду май, а деревья, по-видимому, совсем не окопаны, а яблочки, небось, кушать нравится, даже ветрогон Норвегов, — заметят, — и тот с утра в палисаднике копается. Да, копается, ответим мы — кто-нибудь из нас — или мы скажем хором: да, копается. У наставника Норвегова есть на это время, есть же-

лание. К тому же у него — сад, дом, а у нас — у нас-то ничего подобного уже нет — ни времени, ни сада, ни дома. Вы просто забыли, мы вообще давно, лет, наверное, девять, не живем здесь, в поселке. Мы ведь продали дачу — взяли и продали. Я подозреваю, что ты, как человек более разговорчивый, общительный, захочешь что-нибудь добавить, пустишься в пересуды, начнешь объяснять, почему продали и почему, с твоей точки зрения, можно было не продавать, и не то что можно, а нужно было не продавать. Но лучше уйдем от них, уедем на первой же электричке, я не желаю слышать их голоса.

Наш отец продал дачу, когда вышел на пенсию, хотя пенсия оказалась такая большая, что дачный почтальон Михеев, который всю жизнь мечтает о хорошем новом велосипеде, но все не может накопить достаточно денег, потому что человек он не то чтобы щедрый, а просто небережливый, значит, Михеев, когда узнал от одного нашего соседа, товарища прокурора, какую пенсию станет получать наш отец, то едва не упал с велосипеда. Почтальон спокойно проезжал вдоль забора, за которым находилась дача соседа, — кстати, ты не помнишь его фамилию? Нет, так сразу не вспомнишь: плохая память на имена, да и что толку помнить все эти имена, фамилии — правда? Конечно, но если бы мы знали фамилию, то было бы удобнее рассказывать. Но можно придумать условную фамилию, они — как ни кру-

ти — все условные, даже если настоящие. Но с другой стороны, если назвать его условной фамилией, подумают, будто мы что-то тут сочиняем, пытаемся кого-то обмануть, ввести в заблуждение, а нам скрывать совершенно нечего, речь идет о человеке-соседе, о соседе, которого все в поселке знают, и знают, что он работает товарищем прокурора, и дача у него обычная, не очень-то шикарная, и зря, пожалуй, болтали, будто дом у него из ворованного кирпича — как ты считаешь? А? О чем ты? Ты что — не слушаешь меня? Нет, слушаю, просто я сейчас подумал, что в тех склянках было, наверное, пиво. В каких склянках? В тех больших, у соседа в сарае, в них было обыкновенное пиво — как думаешь? Я не знаю, не помню, я давно не думал о том времени. И в тот момент, когда мимо соседского дома проезжал Михеев, хозяин стоял на пороге сарая и рассматривал на свет склянку с пивом. Велосипед Михеева сильно дребезжал, подпрыгивая на выступающих из-под земли сосновых корнях, и сосед не мог не услышать и не узнать михеевского велосипеда. А услышав и узнав, быстро подошел к забору, чтобы спросить, нету ли писем, а вместо этого — неожиданно для самого себя — сообщил почтальону: прокурора-то, сказал товарищ прокурора, слышал? На пенсию ушли. Улыбаясь. Сколько дали? — отозвался Михеев, не останавливаясь, но лишь слегка тормозя, — сколько денег? Он оглянулся в движении своем, и сосед увидел, что загорелое лицо почтальона ничего не

выражает. Почтальон, как всегда, выглядел спокойным, только борода его с прилипшими к ней хвойными иглами развевалась по ветру: по ветру, рожденному скоростью, по скоростному велосипедному ветру, и соседу — будь он хоть немного поэтом — непременно показалось бы, что лицо Михеева, овеянное всеми дачными сквозняками, как бы само излучает ветер и что Михеев и есть тот самый, кого в поселке знали под именем Насылающий Ветер. Точнее сказать, *не знали*. Никто даже не видел этого человека, его, возможно, и не существовало вовсе. Но вечерами, после купания в пруду, дачники сходились на застекленных верандах, рассаживались в плетеных креслах и рассказывали друг другу разные истории, и одной из них была легенда о Насылающем. Одни утверждали, будто он молод и мудр, другие — будто стар и глуп, третьи настаивали на том, что он средних лет, но неразвит и необразован, четвертые — что стар и умен. Находились и пятые, заявлявшие, что Насылающий молод и дряхл, дурак — но гениален. Говорили, будто он появляется в один из самых солнечных и теплых дней лета, едет на велосипеде, свистит в ореховый свисток и только и делает, что насылает ветер на ту местность, по которой едет. Имелось в виду, что Насылающий насылает ветер только на ту местность, где слишком уж много дач и дачников. Да-да, а там и была как раз такая местность. Если не ошибаюсь, в районе станции три или четыре дачных поселка. А как называлась

станция? — Я никак не могу рассмотреть издали. Станция называлась.

Это пятая зона, стоимость билета тридцать пять копеек, поезд идет час двадцать, северная ветка, ветка акации или, скажем, сирени, цветет белыми цветами, пахнет креозотом, пылью тамбура, куревом, маячит вдоль полосы отчуждения, вечером на цыпочках возвращается в сад и вслушивается в движение электрических поездов, вздрагивает от шорохов, потом цветы закрываются и спят, уступая настояниям заботливой птицы по имени найтингейл; ветка спит, но поезда, симметрично расположенные на ней, воспаленно бегут в темноте цепочками, окликая по имени каждый цветок, обрекая бессоннице желчных станционных старух, безногих и ослепленных войной вагонных гармонистов, сизых путевых обходчиков в оранжевых безрукавках, умных профессоров и безумных поэтов, дачных изгоев и неудачников — удильщиков ранней и поздней рыбы, путающихся в пружинистых сплетениях прозрачной лесе, а также пожилых бакенщиков-островитян, чьи лица, качающиеся над медно-гудящими черными водами фарватера, попеременно бледны или алы, и, наконец, служащих лодочных пристаней, кому мерещится звон отвязанной лодочной цепи, плеск весел, шорох паруса, и они, набросив на плечи гоголевские шинели без пуговиц, выходят из сторожек и шагают по береговым фарфоровым пескам, по дюнам, по травянистым отко-

сам; тихие слабые тени служащих ложатся на камыши, на вереск, а самодельные трубки их светятся подобно кленовым гнилушкам, приманивая удивленных ночных бабочек; но ветка спит, сомкнув лепестки цветов, и поезда, спотыкаясь на стыках, ни за что не разбудят ее и не стряхнут ни капли росы — спи спи пропахшая креозотом ветка утром проснись и цветы потом отцветай сыпь лепестками в глаза семафорам и пританцовывая в такт своему деревянному сердцу смейся на станциях продавайся проезжим и отъезжающим плачь и кричи обнажаясь в зеркальных купе как твое имя меня называют Веткой я Ветка акации я Ветка железной дороги я Вета беременная от ласковой птицы по имени найтингейл я беременна будущим летом и крушением товарняка вот берите меня берите я все равно отцветаю это совсем недорого я на станции стою не больше рубля я продаюсь по билетам а хотите езжайте так бесплатно ревизора не будет он болен погодите я сама расстегну видите я вся белоснежна ну осыпьте меня совсем осыпьте же поцелуями никто не заметит лепестки на белом не видны а мне уж все надоело иногда я кажусь себе просто старухой которая всю жизнь идет по раскаленному паровозному шлаку по насыпи она вся старая страшная я не хочу быть старухой милый нет не хочу я знаю я скоро умру на рельсах я я мне больно мне будет больно отпустите когда умру отпустите эти колеса в мазуте ваши ладони в чем ваши ладони разве это перчатки я сказала не-

правду я Вета чистая белая ветка цвету не имеете
права я обитаю в садах не кричите я не кричу это
кричит встречный тра та та в чем дело тра та та
что тра кто там та где там там там Вета ветла
ветлы ветка там за окном в доме том тра та том
о ком о чем о Ветке ветлы о ветре тарарам трам-
ваи *трамваи* аи вечер добрый билеты би леты
чего нет Леты реки Леты ее нету вам аи цвета ц
Вета ц Альфа Вета Гамма и так далее чего никто
не знает потому что никто не хотел учить нас
греческому было непростительной ошибкой с их
стороны это из-за них мы не можем перечислить
толком ни одного корабля а бегущий Гермес
цветку подобен но мы почти не понимаем этого
того сего Горн мыс труби головы а барабан есте-
ственно бей тра та та вопрос это кондуктор ответ
нет констриктор что вы там кричите вам плохо
вам показалось мне хорошо это встречный про-
стите теперь я точно знаю что это был встречный
а то знаете задремал и слышу вдруг не то поет
кто-то не то не та не то не та не то не та нет-
то брутто Италия итальянский человек Данте че-
ловек Бруно человек Леонардо художник архи-
тектор энтомолог *если хочешь увидеть летание
четырьмя крыльями ступай во рвы Миланской
крепости и увидишь черных стрекоз* билет до Ми-
лана даже два мне и Михееву Медведеву хочу
стрекоз летание в ветлах на реках во рвах неко-
шенных вдоль главного рельсового пути созвездия
Веты в гущах вереска где Тинберген сам родом
из Голландии женился на коллеге и вскоре им

стало ясно что аммофила находит путь домой во- все не так как филантус а тамбурин конечно же бей кто в тамбуре там та там та там там простая веселая песенка исполняется на тростниковой ду- рочке на Веточке железной дороги тра та та тра та та вышла кошка за кота за кота Тинбергена приплясывая кошмар ведьма она живет с экска- ваторщиком вечно не дает спать в шесть утра по- ет на кухне готовит ему пищу в котлах горят ко- стры горючие кипят котлы кипучие нужно дать ей какое-то имя если кот Тинберген она будет ведьма Тинберген пляшет в прихожей с самого утра и не дает спать поет про кота и наверное очень кривляется. А почему — *наверное?* Разве ты не видел, как она пляшет? Нет, мне кажется, я вообще не видел ее никогда. Я живу в одной с ней квартире уже много лет, но дело в том, что ведьма Тинберген — это совсем не та старая жен- щина, которая здесь прописана и которую я вижу по утрам и вечерам на кухне. Та старая жен- щина — другая, ее фамилия Трахтенберг, Шейна Соломоновна Трахтенберг, еврейка, на пенсии, она одинокая пенсионерка, и всякое утро я гово- рю ей: доброе утро, а вечером: добрый вечер, она отвечает, она очень полная женщина, у нее ры- жие с сединой волосы, кудри, ей лет шестьдесят пять, мы почти не разговариваем с ней, нам про- сто не о чем разговаривать, но время от времени, примерно раз в два месяца, она просит у меня патефон и прокручивает на нем одну и ту же пластинку. Больше она ничего не слушает, у нее

нет больше ни одной пластинки. А что за пластинка? Я сейчас расскажу. Предположим, я возвращаюсь домой. Откуда-то. Должен заметить, я заранее знаю, когда Трахтенберг станет просить патефон, я за несколько дней предвижу, что вот скоро, уже совсем скоро она скажет: слушайте, радость моя, сделайте мне удовольствие, что там у вас с патефоном? Я поднимаюсь по лестнице и чувствую: Трахтенберг уже стоит там, за дверью, в прихожей, ожидая меня. Я смело вхожу. Смело. Я вхожу. Добрый вечер. Смело. Вечер добрый, радость моя, сделайте мне удовольствие. Я достаю патефон со шкафа. Довоенный патефон, купленный тогда-то и там-то. Кем-то. У него красный ящик, он всегда в пыли, потому что я хоть и вытираю пыль в комнате, как учила меня наша добрая терпеливая мать, до патефона руки никогда не доходят. Сам я давно не завожу его. Во-первых, у меня нет пластинок, а во-вторых, патефон не работает, испорчен, пружина давно лопнула, и диск не вращается, поверь мне. Шейна Соломоновна, говорю я, патефон не работает, вы же знаете. Неважно, отвечает Трахтенберг, мне только одну пластиночку. Ах, только одну, говорю я. Да-дада, — улыбается Шейна, зубы у нее в основном золотые, носит очки в черепаховой оправе, лицо пудрит, — одну пластиночку. Она берет патефон, уносит к себе в комнату и запирается на задвижку. А минут через десять я слышу голос Якова Эммануиловича. Но ты не сказал, кто это — Яков Эммануилович. А разве ты не помнишь его? Он

был ее муж, он умер, когда нам с тобой было лет по десять, и мы жили с родителями в той комнате, где теперь живу один я или живешь один ты, короче — кто-то из нас. А все же — кто именно? Какая разница! Я рассказываю тебе такую интересную историю, а ты опять начинаешь приставать ко мне, я ведь не пристаю к тебе, по-моему, мы раз и навсегда договорились, что между нами нет никакой разницы, или ты снова хочешь *туда*? Извини, впредь я постараюсь не причинять тебе неприятностей, понимаешь, у меня не все хорошо с памятью. А думаешь, у меня хорошо? Ну извини, пожалуйста, извини, я не хотел огорчать тебя. Так вот, Яков умер от лекарства, он чем-то отравился. Шейна очень мучила его, требовала каких-то денег, она полагала, что муж скрывает от нее несколько тысяч, а он был обыкновенный аптекарь, провизор, и я уверен, что у него не было ни гроша. Я думаю, Шейна просто издевалась над ним, требуя денег. Она была моложе Якова лет на пятнадцать и, как говорили во дворе на скамейках, изменяла ему с управляющим домами Сорокиным, у которого была одна рука и который потом, год спустя после смерти Якова, повесился в пустом гараже. За неделю до этого он продал немецкую трофейную машину, которую привез из Германии. Если помнишь, на скамейках любили поговорить о том, зачем Сорокину машина, он все равно не может водить, не станет же он шофера нанимать. А потом все выяснилось. Когда Яков уезжал в командировку

или по суткам дежурил в аптеке, Сорокин уводил Шейну в гараж, и там, в машине, она и изменяла Якову. Вот благо-то, говорили на скамейках, вот благо-то — собственная машина, мол, даже и ездить, оказывается, не обязательно на ней: явился в гараж, заперся изнутри, фары включил, сиденья откинул — и пожалуйста, развлекайся на здоровье. Ну и Сорокин, говорили во дворе, даром что безрукий. Опиши наш двор, как он выглядел тогда, столько-то лет назад. Я бы сказал, то была скорее свалка, чем двор. Росли чахлые деревья липы, стояли два или три гаража, а за гаражами — горы битого кирпича и вообще всякого мусора. Но главное — там валялись старые газовые плиты, сотни три или четыре, их свезли к нам во двор из всех соседних домов сразу после войны. Из-за этих газовых плит у нас во дворе всегда пахло кухней. Когда мы открывали им духовки, дверки духовок, они ужасно скрипели. А зачем мы открывали дверки, зачем? Мне странно, что ты не понимаешь этого. Мы открывали дверки, чтобы тут же с размаху захлопывать их. Но не возвратиться ли нам к людям, которые жили в нашем дворе, мы знали многих. Нет-нет, с ними так скучно, я хотел бы поговорить теперь о другом. Видишь ли, у нас вообще что-то не так со временем, мы неверно понимаем время. Ты не забыл, как однажды, много лет назад, мы повстречали на станции нашего учителя Норвегова? Нет, не забыл, мы встретили его на станции. Он сказал, что покинул час назад берега водоема, где

производил ужение на мотыля. У него и правда была с собою удочка и ведро, и я успел заметить, что в ведре плавали какие-то животные, но только не рыбы. Наш географ Норвегов построил дачу тоже в районе той станции, только за рекой, и нередко мы навещали его. Но что еще сказал нам в тот день учитель? Географ Норвегов сказал нам примерно следующее: молодой человек, вы, должно быть, заметили, какая прекрасная погода удерживается в нашей местности вот уже много дней кряду; не считаете ли вы, что наши уважаемые дачники не заслуживают подобной роскоши? Не кажется ли вам, мой юный товарищ, что пора бы уже, как говорится, грянуть буре, грозе? Норвегов посмотрел в небо, рукой глаза свои заслонив от солнца. И ведь грянет, милый вы мой, да еще как грянет — полетят клочки по закоулочкам! И не когда-нибудь, а не сегодня-завтра. Кстати, вы-то задумываетесь над этим, вы в это верите?

Павел Петрович *стоял посреди платформы*, станционные часы показывали два часа пятнадцать минут, на нем была его обычная светлая шляпа, вся в небольших дырочках, будто изъеденная молью или многократно пробитая ревизорским компостером, а на самом деле дырочки были пробиты на фабрике, чтобы у покупателя, а в данном случае у Павла Петровича, в жаркие времена года не потела голова. А кроме того, думали на фабрике, темные дырочки на светлом

фоне — это все-таки что-нибудь да значит, чего-нибудь да стоит, это лучше, чем ничего, то есть лучше с дырочками, чем без них, решили на фабрике. Хорошо, но что еще носил наш учитель в то лето, да и вообще в лучшие месяцы тех незабываемых лет, когда мы жили с ним на одной станции, причем его дача находилась в поселке за рекой, а наша — в одном из тех поселков, которые были на том же берегу, что и станция? Довольно трудно ответить на этот вопрос, я не припомню в точности, что носил Павел Петрович. Проще сказать, чего он не носил. Норвегов никогда не носил обуви. Во всяком случае летом. И в тот жаркий день на платформе, на старой деревянной платформе, он легко мог бы занозить себе ногу, или сразу обе. Да, это могло произойти с каждым, но только не с нашим учителем, понимаешь, он был такой небольшой, хрупкий, и когда ты видел его бегущим по дачной тропинке или по школьному коридору, тебе казалось, будто его босые ноги совсем не касаются земли, пола, а когда он стоял в тот день посреди деревянной платформы, казалось, он не стоит вовсе, но как бы висит над ней, над ее щербатыми досками, над всеми ее окурками, отгоревшими спичками, тщательно обсосанными палочками от эскимо, использованными билетами и высохшими, а потому невидимыми пассажирскими плевками разных достоинств. Позволь мне перебить тебя, возможно, я что-то не так понял. Разве Павел Петрович ходил босиком даже в школу? Нет, я, очевидно,

оговорился, я хотел сказать, что он ходил босиком на даче, но, может быть, он не надевал обуви и в городе, когда шел на работу, а мы и не замечали. А может, и замечали, но это не слишком бросалось в глаза. Да, почему-то не слишком, в таких случаях многое зависит от самого человека, а не от тех, кто на него смотрит, да, я вспоминаю, не слишком. Но как бы там ни было в школьные сезоны, ты определенно знаешь, что уж летом-то Норвегов ходил без обуви. Вот именно. Как заметил однажды наш отец, лежа в гамаке с газетой в руках, на кой хрен сдалась Павлу обувь, да еще в такую жару! Это только мы, бедолаги казенные, продолжал отец, все никак отдохнуть ногам не даем: не сапоги так галоши, не галоши так сапоги — так и мучаешься весь век. Дождь на улице — суши, значит, ботинки, солнце — смотри, значит, чтоб не потрескались. А главное — всякий день с утра возишься с гуталином. А Павел — человек вольный, мечтательный, он и умирать-то на босу ногу станет. Бездельник он, твой Павел, — сказал нам отец, — потому и босяк. Все деньги, небось, на дачу извел, в долгах сплошь, а все туда же — рыбу ловить, на берегу прохладиться, тоже мне — дачник фиговый. У него и дом-то нашего сарая плоше, а он еще и флюгер на крышу поставил, подумать только — флюгер! Я его, дурака, спрашиваю: зачем, мол, флюгер-то, трещит только напрасно. А он мне оттуда, с крыши: да мало ли, гражданин прокурор, что случиться может, например, говорит, ветер дует-дует в одну сторону,

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая. НИМФЕЯ	7
Глава вторая. ТЕПЕРЬ РАССКАЗЫ, НАПИСАННЫЕ НА ВЕРАНДЕ	79
Глава третья. САВЛ	101
Глава четвертая. СКИРЛЫ	143
Глава пятая. ЗАВЕЩАНИЕ	195